

ПРИМЕЧАНИЕ

⟨К СТАТЬЕ Н. СТРАХОВА «ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АПОЛЛОНЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ГРИГОРЬЕВЕ»⟩

Никак не могу умолчать о том, что в первом письме Григорьева касается меня и покойного моего брата. Тут есть ошибки, и по некоторым из них полную правду могу восстановить только я; я был тут сам деятелем, а по другим фактам личным свидетелем.

1) Слова Григорьева: «Следовало не загонять как почтовую лошадь высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фельетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно и физически»... — никоим образом не могут быть обращены в упрек моему брату, любившему меня, ценившему меня, как литератора, слишком высоко и пристрастно и гораздо более меня радовавшемуся моим успехам, когда они мне доставались. Этот благороднейший человек не мог употреблять меня в своем журнале, как почтовую лошадь. В этом письме Григорьева, очевидно, говорится о романе моем «Униженные и оскорбленные», напечатанном тогда во «Времени». Если я написал фельетонный роман (в чем сознаюсь совершенно), то виноват в этом я и один только я. Так я писал и всю мою жизнь, так написал все, что издано мною, кроме повести «Бедные люди» и некоторых глав из «Мертвого дома». Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или, повести было уже в типографии и в наборе, а окончание сидело еще в моей голове, но непременно должно было написаться к завтраму. Привыкнув так работать, я поступил точно так же и с «Униженными и оскорбленными», но никем на этот раз не принуждаемый, а по собственной воле моей. Начинавшемуся журналу, успех которого мне был дороже всего, нужен был роман, и я предложил

роман в четырех частях. Я сам уверил брата, что весь план у меня давно сделан (чего не было), что писать мне будет легко, что первая часть уже написана и т. д. Здесь я действовал не из-за денег. Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму (на что требовалось действительно время и выноска идей в уме и в душе). В то время как я писал, я, разумеется, в жару работы, этого не сознавал, а только разве предчувствовал. Но вот что я знал наверно, начиная тогда писать: 1) что хоть роман и не удастся, но в нем будет поэзия, 2) что будет два — три места горячих и сильных, 3) что два наиболее серьезных характера будут изображены совершенно верно и даже художественно. Этой уверенности было с меня довольно. Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь. Произведение это обратило, впрочем, на себя некоторое внимание публики. Конечно, я сам виноват в том, что всю жизнь так работал, и соглашаюсь, что это очень нехорошо, но...

Да простит мне читатель эту рацею о себе и о «высоком даровании» моем, хотя бы в том уважении, что я первый раз в жизни заговорил теперь сам о своих сочинениях. Но повторяю, в фельетонстве моем я сам был виноват и никогда, никогда благородный и великодушный брат мой не мучил меня работой... Добрый Аполлон Александрович, с которым я сошелся гораздо ближе впоследствии, всегда следил за моей работой с горячим участием, и это объясняет слова его. Он только не знал на этот раз, в чем дело. (...)

Аполлон Григорьев весьма часто упоминал во «Времени» о Хомякове и Киреевском, и упоминал всегда так, как хотел, потому что сама редакция «Времени» вполне ему сочувствовала. Но то было худо, что часто он *неумело* упоминал об этих лицах, потому что говорил о них голословно. Масса читателей тянула тогда совершенно в другую сторону: про Хомякова и Киреевского было известно ей только то, что они *ретрограды*, хотя, впрочем, эта масса их никогда и не читала. Следовало знакомить с ними читателей, но знакомство это делать осторожно, умеючи, постепенно, более проводить их дух и идеи, чем губить их на то время громкими и голословными похвалами. Оттого-то какой-нибудь тогдашний прогрессист, раскрывая книгу и наталкиваясь прямо на слова: «великие мыслители Хомяков, Киреевский, о. Федор», — с презрением закрывал журнал не читая, а Григорьева называл сумасшедшим и смеялся над ним. (...)

Сделаю еще одно последнее, общее за мечание. В этих великолепных, исторических письмах, в которых не звучит ни одной фальшивой (неискренной) ноты и в которых так типично, хотя все еще не вполне обрисовывается один из русских Гамлетов нашего времени (настоящих Гамлетов), — в этих великолепных письмах, говорю я, не все и теперь может быть взято редакцией «Эпохи» без оговорок. Без сомнения, каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт; это, кажется, одно из необходимейших условий настоящего критика. Григорьев был бесспорный и страстный поэт; но он был и капризен и порывист как страстный поэт. Я не о том собственно говорю, что он *увлекался*, — фраза, которую некрологисты его (из которых, без сомнения, редкий и читал Григорьева) обратили в пошлое выражение. Григорьев был хоть и настоящий Гамлет, но он, начиная с Гамлета Шекспира и кончая нашими русскими, современными Гамлетами и гамлетиками, был один из тех Гамлетов, которые менее прочих раздваивались, менее других и рефлектировали. Человек он был непосредственно и во многом даже себе неведомо — почвенный, кряжевой. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек как натура (не говорю как идеал; это разумеется). От этого и происходило, что малейший порыв свой в общем деле он считал до того *кровным* и необходимым для *всего* дела, до того неразрывным с делом, что малейшее неудовлетворение этому порыву казалось ему иногда падением всего дела. И так как раздвоился жизненно он менее других, и, раздвоившись, не мог так же удобно, как всякий «герой нашего времени», одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины, сознавать и описывать эту тоску свою, иногда даже в прекрасных стихах, с самообожанием, и с некоторым гастрономическим наслаждением, — то и заболевал тоской своей весь, целиком, *всем человеком*, если позволят так выразиться. В этом настроении написаны и письма его.

«Я критик, а не публицист», — говорил он мне сам несколько раз и даже незадолго до смерти своей, отвечая на некоторые мои замечания. Но всякий критик должен быть публицистом в том смысле, что обязанность всякого критика — не только иметь твердые убеждения, но уметь и проводить свои убеждения. А эта-то умелость проводить свои убеждения и есть главнейшая суть всякого публициста. Но Григорьев, судя о слове *публицист* с предубеждением, — по некоторым частным примерам бывших у нас публицистов, — не хотел даже и пони-

мать, чего от него добивались, и, кто знает, по своей гамлетовской мнильности, может быть, думал, что от него добиваются отступничества.

Я полагаю, что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если б у него был свой журнал, то он бы утопил его сам, месяцев через пять после основания.

Но я рад чрезвычайно, что публика и литература могут яснее узнать, по этим письмам Григорьева, какой это был правдивый, высокочестный писатель, не говоря уже о том, до какой глубины доходили его требования и как серьезно и строго смотрел он всю жизнь на свои собственные стремления и убеждения.